

Вот портрет этой женщины, набросанный рукой Афанасия Фета: «Это была небольшого роста, не только безукоризненно красивая, но и привлекательная брюнетка. Ее любезность была не без оттенка кокетства. ...а бархатистый голосок звучал капризом избалованного мальчика. Она говорила, что дамское общество ее утомляет и что у нее в гостях одни мужчины».



дов, не заметил того, что ушел не-нароком скромный инженер. Во всяком случае, говоря о ней, слово «наивность» не употреб-ляла, а не оно ли, приходя в голову, и есть в данном слу-чае ключевое сло-во? Сразу понят-но становится, отчего мужья ее были все как на подбор турманы и жуиры: блеск ми-шурки принимала за блеск золота - про-столюдно и довер-чиво билось жен-ское сердце, - ког-да же свернуло по-длинное золото, рас-познала его не вдруг. «Нет», - было сказано поэту.

Нет! И он - ...побежден безумною тоскою, Меновено кинулся к волнам.

Он, конечно, тоже был жуир, он, конечно, тоже был

Ему плохо, ему скучно, он не находит себе места, а она? Не развлекается ли там она? Мысль эта приводит его в ужас.

Неужто, вопрошает строго, И жизнь кипящая, и полная свобода Тебя неволью увлекли?

Как жлет он ее писем! Как набрасывается на них! (Редко какая рукопись удостоивается теперь такого внимания.) А читая он, великий редактор, умеет и, конечно же, находит очередное ее послание «рассчитано суровым, коротким и сухим».

Поэт в панике. ...не демон ли раздора Твоей рукой насмешливо водил?

Вот только откуда взялся раздор - они ведь, хорошо помнит он, расстались друзьями: «так нежен был последний час разлуки...» Или это просто «каприз случайный»? «Иль данный гнев?» Поэт мучается. Поэт плачет и страдает.

Я мучился: я плакал и страдал, В догадках ум испуганный блуждал, Я жалок был в отчаянье суровом...

некрасовские слова, Панаева не сочла нужным отделить себя от автора, то есть молчаливо признала сие обоим «мы». А оно, между прочим, звучало не один раз.

Мы с тобой бесполовые люди: Что минута, то оспышка готова!

Это уж точно: бесполовые... Написать влюблен два огромных романа (влюблен! - до сих пор русская литература не знала подобного), создать лучший в России журнал, антелом-хранителем которого была, конечно, она, хозяйка дома (редакция помещалась в паневское-некрасовское жилище), а вот семейного гнезда так и не свить... Что же касается влюблен, то и тут все - чистая правда. Это в письмах, когда она находилась далеко от него, изливала он слова нежности, это на расстоянии любил ее страстно и нежно, едва же рядом оказывалась, делался раздражителен и угрюм. «...у Некрасова, - вспоминает Панаева, - нередко выпадали дни мрачные. Под предлогом нездоровья он сидел дома, никого не хотел видеть», - а когда она пыталась развлечь его, - «находил, что я будто бы нарочно усложняла своим разговорами его и без того ужасное настроение».

Молчит не только с ним, молчит и с посторонними. В доме с утра до ночи толпится народ, но мало кто догадывается об истинной жизни этих трех и об истинных их отношениях. Все темно тут, все странно и для нормального взгляда непостижимо. Даже публикуя обращения к ней стихи, выдавал их, конспиратор, то за перевод из Шенне, то за перевод из Ларри.

«Вчера узнал, - с изумлением записывает в дневнике А. Дружинин, постоянный автор журнала и близкий друг человека, - вчера узнал, что у Авдотьи Яковлевны есть дитя, четырех месяцев. Это возможно только в Петербурге - видится так часто и не зная, есть ли дети у хозяйки дома».

Ребенок этот умер - у нее один за другим умирали все ее дети, кроме последнего, от Головачева, но он родился, когда ей было уже за сорок.

Возник Головачев как-то незаметно и был славен главным образом тем, что жил в организованной писателем Слепцовым коммуналке. Коммуна эта была особым родом: в ней, свидетельствует Панаева, «дамский элемент преобладал; мужчин было только двое: Слепцов и его приятель Н».

Этот-то Н, которого Авдотья Яковлевна умудрилась тактично раз и не называть по имени в обширных своих мемуарах, и был ее будущий супруг Аполлон Головачев. В 1863 году, когда он стал

ниже за десять лет до появления Головачева, но с тех пор, надо думать, куда же обещало еще больше. А раз так, то, поди, бровью не повел, узнав о замужестве старой подруги... А не! Он всегда начинал писать любовь, стоило ей покинуть его хотя бы на время, - тогда-то и рождались поэтические шедевры, - а тут не на время, тут навсегда... Поэт оглянулся, не веря себе. Один... Неужто один?

Один, один!.. А ты, кем полны Мои ревнивые мечты, Умчал роковые волны Пустой и милой суеты.

Смертельный удар - так классифицирует он ее поступок. Смертельный тем более, что нанесла его рука, «которая ласкала нас...»

Конечно, он прекрасно сознает, что «в ней сердце жаждет жизни новой», но ему все-таки хочется знать, печалилась ли она хотя бы? Мучилась? «Или репнилась на разлуку? Благоуразумно и легко?» Как бы там ни было, успокоившись немного, он желает ей счастья, но при этом понимает, великий сердцевед,

Что без меня нет счастья ей!

Пророчество сбылось. Она овдовела, когда умер Некрасов (именно в этом году умер и Головачев), но прожила еще долгие пятнадцать лет. Долгих и трудных. Семидесятилетняя старуха жаловалась Чернышевскому: «Сию теперь без гроша, а надо что-нибудь писать, а как будешь писать, когда голова только тем и занята, чем завтра накормить семью...» Чернышевский пытался по-

Руслан КИРЕЕВ

«Благослови и не забудь!»

«особенно жалким выглядел Некрасов в холодное время. Очень бледен, одет плохо, все как-то дрожало и пожималось. Руки у него были голые, красивые, белая не было видно, но шею обертывал он красным вязанным шарфом, очень изорванным».

Где жил он? А где придется: то под самыми облаками - на чердаке, то в присподобной: в подвале. В том самом подвале с клопами, пауками и береманными старухами, что описан в «Петербургских утлах». Но там хотя бы кроватка стояла - хозяйка расшдиралась - а в иных «утлах» не было и ее. Писатель Николай Успенский вспоминает, как закутавшийся в шинель Некрасов «лежал на полу своей, почти лишенной мебели, комнаты». Хлеба и того подчас не мог купить - раз даже попытка расшдираться в трактире стихами. «...У меня есть книжка собственных стихотворений... видите, какая толстая?.. Не возьмешь ли ее на время к себе... может быть, заинтересуетесь почитать?»

Увы, бумажник менять суп на стихи категорически отказался. Среди героев «Петербургских утлов» тоже, между прочим, фигурирует поэт. Даст из сапота тетрадь со стихами, гордо размазывает ею - «Я, брат, какие стихи сочинял!» - а после за стакан вина, в который ему подсыплют насмешки ради соль и махорку, лихо отплясывает шестидесятилетний шут.

О чем думала, слушая это, молодая красавица, хозяйка роскошной петербургской квартиры? О том, по-видимому, что подобная участь одолевает и ее изурновного, с охрипшим голосом, случайного гостя, который показывал ей много старше ее. (А был между тем на два года моложе.) О, как ошиблась она в своих прогнозах! «Я поклялся не умереть на чердаке, - обронил он впоследствии, - ...я развивал в себе практическую сметку».

Но мало ли, кто в чем клянется! Мало ли, кто что пытается развивать! Надо ведь, как минимум, обладать хотя бы зародышем того, что возманился развить.

Некрасов обладал. Кажется, Некрасов - единственный великий поэт, который был еще и великим предпринимателем - обычно качества эти сочетаются плохо. Даже Белинский, сам в практических делах совершивший малавентуру, признал его коммерческую хватку, причем признавал гораздо раньше, нежели поэтический дар. Поэтический дар Некрасова критик оценил, когда лишь тот прочел своим сильным голосом стихотворение «В дороге». «...у Белинского за-сверкала глаза, он бросился к Некрасову, обнял его и сказал: «Да знаешь ли ты, что вы поэт - и поэт истинный?»

То был перелом. Отныне литературного подмастерья, сочинявшего куплеты для водевилей, правившего рукописи об уходе за плечами и умудряющегося, ни слова не зная по-французски, переводить французские мелодрамы (вот она, практическая сметка!), - отныне бывшего беспризорника принимали в respectable паневском доме как равного. Ему даже отделили комнату, и он, с приятностью обнаружив в себе любовь к комфорту, по-хозяйски расположился в ней, а красавица Авдотья Яковлевна потчевала квартиранта обедом и вечерним чаем. Что же касается главы семьи, то он, в

основном, «кодил по херсам» да вволюлся за хорошенькими женщинами.

Но жилец его тоже был не лыком шит: и херсом не пренебрегал, и прекрасный пол не обделял вниманием. Валерия Панаева, двоюродный брат Ивана Панаева, бесхитростный инженер-путеец, приводит рассказ Некрасова о том, как его, бедошного, приотлил, чтобы подготовить к университету, некий добросердечный профессор. Чем же отплатил за крышу над головой будущий автор «Кому на Руси жить хорошо»? А вот чем: «...У профессора была жена смазливая, и я стал за нею приволакиваться. Заметил это профессор, да и вытолкнул меня вон».

Урок Некрасову винок не пошел: за паневское гостеприимство решил расплатиться той же монетой. На сей раз, однако, его не выставили: Иван Иванович оказался госпитальным терпимым. Сквозь пальцы смотрел, веселый человек, как увивается за его женой энергичный квартирант.

А сама жена? Сама жена держалась стойко. Священные были для нее супружеские узы - священные, да, хоть поклонники и умоляли:

Постыдных, невинных уз Отринь насильственное бремя И заключи - пока есть время - Свободный, по сердцу союз.

Свободный, по сердцу союз - это, конечно, хорошо, но что скажет свет? Попадит ли молва людская?

Ха, молва!

Когда горит в твоей крови Огонь действительной любви, Когда ты сознаешь глубоко Закон свободы права, - Верь: не убьет тебя молва Своею клеветой жестокой!

Стихи эти впервые обнародованы в романе «Три страны света»: герой читает их Лукерье Тарасовне, женщине, само собой, замужней, и та «...кинувшись ему на шею и страстно поцеловала: «Убейши я твою!» Но то Лукерья Тарасовна, героиня романа, реальную же Авдотью Яковлевну прогнать стихами, даже самыми пылкими, было не так-то просто: и к комплиментам привыкла, и к стихам (вот и Фет тоже посвятил ей три десятка строк), и к постоянному мужскому вниманию. Даже azért Белинский, вспоминая опять-таки инженер-путеец, «любил поболтать с молодой женой Ивана Ивановича и поддразнить ее, как ребенка, потешаясь проявлениями ее наивности».

Эта беглая характеристика «молодой жены Ивана Ивановича» прелобопытна. Сколько великих людей оставили воспоминания о русской красавице, хозяйке лучшего в Петербурге литературного салона, сам Александр Дюма в своих «Впечатлениях от поездки в Россию» назвал ее женщиной, «с очень выдающейся красотой», но - удивительное дело! - никто из мастеров слова, профессиональных, как принято считать, сердцеве-

гурман, но, в отличие от Ивана Панаева писал гениальные стихи, а гениальные стихи, как известно, из пальца не высасываются. На собственном опыте познавал все - будь то кошмар «Петербургских утлов» или неразделенная любовь к прекрасной женщине.

Итак, «побежден безумною тоскою», поэт побуждал топить, о чем впоследствии и поведал миру в стихах, о которых Тургенев сказал: «пушкински хороши». Правда, слова о безумной тоске в окончательном варианте отсутствовали, но они есть в черновике, а разве черновики - не документ души? Побуждал и вот уже, «полон думой роковой», подходил к реке, вот уже, мысленно попрощавшись с жизнью, ступал «на край обрыва», как вдруг...

Воруж волны грозно потемнели И страх меня остановил!

Первоначально было «страх... оледенел...», но Некрасов, видимо, показало это то ли слишком сильным, то ли не совсем точным. «Оледенел» - значит перестать соображать что-либо, в слове же «остановил» - прислушайтесь! - звучит сомнение. Колесенье звучит. Поэт как бы раздумывает...

Раздумывает о чем? Вероятно, о жизни, в которой сделано далеко не все. «Я поклялся не умереть на чердаке». Но чем вода лучше чердака! Короче говоря, не сгинул с обрыва, вернулся в хлебосольный паневский дом и засучив рукава взялся за дело, результаты которого сказались на судьбе всей русской литературы. Возродил, вывел из небытия пушкинский «Современник» - совсем захиревшее издание, которое в его руках стало скоро лучшим общественным журналом. Именно в нем печатали свои вещи Гончаров и Тургенев. Недавний обитатель «петербургских утлов» сделался законодателем художественного вкуса, вождем целого направления, символом неслаженного доселе литературного и издательского успеха.

Успех... Какая женщина устоит перед ним? Панаева не устояла. То, чего он столь долго и безуспешно добивался, свершилось.

Счастливые дни! Его я отличал В семье обыкновенных дней; С него я жизнь мою считалю, И праздную его в душе моей!

Вообще-то стихи появились в печати как перевод из Шенне, но француз Шенне ничего подобного не писал, это было послание Некрасова ухажившей за ним Авдотье Панаевой.

«...как все крутом меня пустынно» - восклицает захандривший редактор лучшего в России журнала.

Но что журнал, если милой нет рядом! Отдаваться не могу любовию ничему, И жизнь скучна, и время длинно, И холоден я к делу своему.

Но в отчаянье был не только редактор, в отчаянье были и читатели, подписчики журнала, которым давно уже посулили роман с интригующим названием «Озеро смерти», сочинение тех же авторов (Н. Станицкий и Н. Некрасов), что и имевшие шумный успех «Три страны света», однако публикация «Озера...» все откладывалась да откладывалась.

Кто такой Н. Некрасов, знали все, а вот о его таинственном соавторе строились предположения самые фантастические. Поговаривали даже, что это женщина, чему, разумеется, никто не верил. А зря! Зря не верили: Н. Станицким была не кто иная, как Авдотья Яковлевна Панаева.

В свое время жертвой мистификации стал сам Белинский. Прочитав повесть «Семейство Тальниковых», он был несказанно удивлен, когда узнал, что написала ее Панаева. «Я, грешный человек...», думал, что вы только о нарядах думаете».

Оказалось, не только о нарядах. Вот и «Три страны света», «роман во французском вкусе» (то был тяжелый год: ничего серьезного свирепствующая цензура не пропускала), писалась в четыре руки. «Иногда выдавались такие минуты, - вспоминает Панаева, - что мы положительно не знали, как продолжать роман...».

Тем не менее продолжали и благополучно закончили в несколько месяцев - толстенный том! - и затеяли новый: «Озеро смерти» (будущее «Мертвое озеро»), работа над которым застопорилась из-за болезни Н. Станицкого.

В сентябре «Н. Станицкий» наконец вернулся, и дело сплывало в яварском море: появились начальные главы.

А Скабичевский, сотрудник Некрасова и первый его биограф, пропитуировал авторские пометки на экземпляре «Трех сторон света», пришел к выводу, что «все, касающееся интриги и вообще любовной части романа, принадлежит перу г-жи Панаевой».

Наверное, это не совсем так: опыт Некрасова в «любовной части» вряд ли уступал опыту его соавтора, скорее наоборот - уж кто-то, а Скабичевский знал это отлично. «Люди с темпераментом Некрасова, - писал он, - редко бывают склонны к тихим радостям семейной жизни. Они пользуются большим успехом среди женского пола, бывают счастливыми любовниками или дознанами, но из них не выходит примерных мужей и отцов».

Собственно, чтобы понять это, не требовалось особой проницательности: Некрасов своих похощений не скрывал. Воистину, он видел все, даже последователь Чернышевский. «Прилично ли человеку в его лета возбуждать в женщине, которая была ему некогда дорога, чувствительности шалостями и связками...».

Вопрос, разумеется, риторический: для Николая Гавриловича такое поведение было верхом неприличия, но когда однажды Авдотья Яковлевна посоветовала Некрасову брать пример с этого благонамеренного человека - с него да с покойного Добролюбова, - то в ответ услышала раздраженное: «Между нами и нами огромная разница... Они в своих нравственных принципах тверды, как сталь, а мы, расшатанные люди, не умеем даже в пустяках сдерживать себя!»

Записывая для потомства эти

Николай Некрасов закончил жизнь как великий национальный поэт, издатель и редактор лучшего российского журнала, хозяин одного из самых богатых и роскошных домов столицы, а начал... Начал как обитатель петербургских трущоб, писавший красными от мороза руками куплеты для водевилей и инструкции по уходу за пчелами.



Пожалуй, это ее единственная жалоба на человека, который в течение многих лет был фактически ее мужем. (А тот, прежний, жил, не думая в ус, в соседней комнате.) Она-то не жаловалась - во всяком случае, публично, - но сам он в свои светлые минуты понимал все.

Тяжелый крест достался ей на долю: Страдай, молчи, притворствуй и не плачь; Кому и страсть, и воля - Все отдала, - тот стал ее палач!

Давно ты с кем она не знает встречи; Всегда одна, запущена, грустна...

В окончательном варианте он слово «запущена» вычеркнул, заменил на «упущена», что, наверное, более точно: запущенный человек и рта не смеет открыть, а она ему все-таки нет-нет да отвечала. Упрекала в сердцах, что стужила ради него свою молодость, что он истерзал ее ревностью, на что он мрачно:

Не говори, что молодость сгулила Ты, ревностью истерзана моею; Не говори!.. близка моя могила...

Его могила близка, а вот ты, прибавляя с упрехом, -

А ты цветка весеннего свежей!

Секретарем «Современника», Иван Панаев уже скончался, и путь к официальному браку был расчищен, однако Некрасов решивший шаг сделать не торопился. В нем, по выражению Боборыкина, «сидел... типический холостяк», чего он, собственно, и не скрывал. Тургеневу, во всяком случае, от женитьбы отговаривал. «Это будет верх глупости с твоей стороны».

В чем другом, а тут у них, кажется, особых разногласий не было. «Молодость? то наша с тобой не акти прошла как весело, испытали мы с тобой немало передряг, не был женатыми».

Кто говорит это? Впрочем, здесь важно не кто говорит, говорит Тургенев, а что записывает.

Записывает Панаева. Записывает, никак не комментируя, - не возражает, не уточняет. Выходит, и она тоже не считает делом, от которого не раз рождала, женатым, а себя соответственно не считает его женой. Сколько же могло так продолжаться? Охота, клуб, карты... («Головотрез карточного стола», - окристал его Тургенев). Карты, клуб, охота... Сколько! По-видимому, до смерти... (Хотя на смертном уже одре обвенчались-таки с женщиной, которая была моложе его на тридцать лет.) А ей уже за сорок... И ей страстно хочется ребенка... Ей страстно хочется ребенка...

Тут-то и подвернулся Головачев. Жуир и турман, он был из числа тех мужчин, которые ей всегда нравились, но с которыми, увы, семейной каше не сварить.

Но она пытается - это, понимает она, ее последний шанс. Некрасов? Ну а что Некрасов! Некрасов к ней давно охладел, да и вообще он «смотрит на себя и на жизнь, как на истертое платье, о котором не стоит заботиться».

Это не ее слова, это слова Дружинина, он записал их в днев-

мочь, но умер, так и не успев ничего сделать. Приходилось вновь и вновь обивать пороги редакций.

Круг... Ну, конечно, круг, излюбленная фигура судьбы, которая обожает возвращать человека на исходную позицию. А если не успела, если человек ускользнул - не беда, судьба возьмет свое, отыгравшись на близких.

Авдотья Панаева вернулась к тому, с чего начал когда-то Николай Некрасов: с полной нищеты. «Если бы не страх, что маленькие сироты, мои внучата, умрут с голоду, то я бы ни за что не показала бы носу ни в одну редакцию со своим трудом, так тяжело переносить бесперспективное отношение ко мне, как позавтому автору прошлой литературной эпохи».

Она писала это в самом конце марта, когда уже набухали почки и распахивались в домах форточки. Из одного окна доносились звуки, которые заставляли ее останавливаться.

Прости! Не помни дней паденья, Тоски, унынья, озлобленья, - Не помни бурь, не помни слез, Не помни ревности угроз!

Этим обращением к Панаевой некрасовским стихам принадлежал своего рода рекорд: сорок с лишним композиторов положили их на музыку. Сорок с лишним! Среди них - Чайковский, Римский-Корсаков, Кюи...

Но дни, когда любовь светило Над нами ласково встало И обою мы свершали путь, - Благослови и не забудь!